

“ Мысли наши были заняты Россией
и нашей работой для России.

ЭЛЛЕНДЕЯ ПРОФФЕР ТИСЛИ

Карл Проффер
Без купюор

CoRpus

Первая публикация воспоминаний
об Иосифе Бродском

18+

Карл Проффер

Без купюр

«Corpus (ACT)»

2017

УДК 821.111-94(73)
ББК 84(7Сое)-44

Проффер К.

Без купюр / К. Проффер — «Corpus (АСТ)», 2017

ISBN 978-5-17-098207-3

В воспоминаниях американского слависта, главы издательства «Ардис» Карла Проффера описаны его встречи с Надеждой Мандельштам, беседы с Еленой Булгаковой, визиты к Лиле Брик. Проффер не успел закончить много из задуманного, и книга о литературных вдовах России была подготовлена и издана его женой Эллендеей Проффер в 1987 году, уже после его смерти, но на русский переведена только сейчас. А заметки об Иосифе Бродском, с которым Карла и Эллендею связывала многолетняя дружба, полностью публикуются впервые. Книга содержит нецензурную брань.

УДК 821.111-94(73)

ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-098207-3

© Проффер К., 2017
© Corpus (АСТ), 2017

Содержание

Эллендея Проффер Тисли	6
Примечания к тексту	10
Литературные вдовы России	11
Надежда Мандельштам	11
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Карл Проффер Без купюр

© Ellendea Proffer Teasley, 2017

© В. Бабков (“Заметки к воспоминаниям об Иосифе Бродском”) перевод на русский язык, 2017

© В. Голышев (“Литературные вдовы России”), перевод на русский язык, 2017

© ООО “Издательство АСТ”, 2017

Издательство CORPUS ®

* * *

Эллендея Проффер Тисли Женщины, смерть и русская литература

Позвольте вернуть вас в аналоговую эпоху. Летом 1982 года у Карла Проффера неожиданно обнаружили рак толстой кишки и сказали, что ему осталось жить три месяца. Благодаря пяти операциям и радикальной химиотерапии ему удалось прожить два года. За оставшееся время он решил написать эту книгу.

Ни в характере его, ни в биографии ничто не предвещало будущего интереса к русской литературе. Баскетбольная звезда в школе, он в одночасье сделался интеллектуалом. В семье Карла не было гуманитариев, о литературе он знал только то, что могла дать средняя школа на Среднем Западе. В 1950-х годах, когда он поступил в Мичиганский университет, ему надо было выбрать иностранный язык. Будущее нашло его в восемнадцатилетнем возрасте, когда он стоял перед доской объявлений с образцами языков и впервые увидел русский алфавит. Его внимание привлекла буква “Ж”, похожая на бабочку, и он сказал себе: “Какой интересный алфавит”.

Изучение русского языка, естественно, привело к курсу русской литературы, предмета, о котором он не знал ничего. Карл, до того прочитавший очень мало художественных произведений, соприкоснулся с одной из великих мировых литератур и встретился с Пушкиным, Гоголем, Толстым и Достоевским – все на протяжении одного курса.

Так студент, который с его памятью и великолепной логикой мог бы стать, например, юристом, подпал под обаяние русской литературы и погрузился в нее со страстью. Баскетболист стал интеллектуалом и ученым, но психологически он оставался капитаном команды. Смелость и лидерские качества оказались очень важными в его дальнейших занятиях. Этим объясняется, между прочим, и то, что, не достигнув еще тридцатилетия, Карл вступил в переписку с Набоковым и был уверен в себе настолько, что послал этому известному своей придирчивостью автору рукопись “Ключей к «Лолите»”.

Карл с необычайной быстротой преодолел академическую полосу препятствий: он стал самым молодым доктором философии в университете и в 1972 году – самым молодым профессором. Он был превосходным преподавателем, переводчиком и исследователем. Был требователен и вместе с тем старался, чтобы занятия у него доставляли удовольствие. Однажды, разбирая со старшекурсниками “Записки из подполья”, он дал пресс-конференцию от лица “подпольного человека”; студентам предлагалось задавать вопросы о чем угодно, а его импровизированные ответы – в соответствии с характером персонажа – были мрачными и параноидальными.

Слава Карла как литературоведа была неожиданной, как и многое в нем самом. По прихоти издательских планов три его книги в разных издательствах вышли одновременно. Это были: исследование сравнений в “Мертвых душах”, перевод подборки писем Гоголя и “Ключи к «Лолите»”. В рецензии лондонского *The Times Literary Supplement* 10 октября 1968 года говорилось, что в русском литературоведении появилось значительное лицо.

Книга Карла о сравнениях у Гоголя, писал рецензент, “явно основана на его докторской диссертации, но диссертация *профферизована*, т. е. увлекательна, энергична, и сквозь ученый аппарат просвечивает энтузиазм и оживленность самого критика... Публикация трех исследований, двух о Гоголе и одного о Набокове, в течение одного года – поразительное достижение для доселе неизвестного ученого”.

Вначале Карл занимался Гоголем и Пушкиным – подробно и глубоко изучал обоих писателей. Со временем он накопил огромное количество знаний обо всех значительных писателях русского Золотого века. Позже, когда моей темой стал Булгаков, мы вместе пере-

водили его пьесы и рассказы, и он принялся так же подробно изучать русских писателей XX века.

Его работы отличались ясностью, энергией и отсутствием ученого жаргона. И в них видна была уверенность, редкая в молодых исследователях. Он написал “Ключи к «Лолите»”, когда ему не было тридцати, и несмотря на то, что сам Набоков согласился прочесть рукопись, Карл позволил себе в книге такой пассаж:

Есть афоризм, приписываемый знаменитому русскому полководцу Суворову, я процитирую его по записным книжкам князя Вяземского: “Тот уже не хитрый, о котором все говорят, что он хитер”. Его можно метафорически и с полным правом применить к Набокову-художнику. Тайная основа и техническая сторона мастерства Гоголя спрятаны так глубоко, что критику почти невозможно их сколько-нибудь прояснить. Набоков же, кажется иногда, слишком много *думает*, и поэтому его можно анализировать.

В 1971 году мы основали издательство “Ардис”; об этом я написала в предисловии к книге “Бродский среди нас”, так что распространяться об этом здесь не буду. В мире подобных издательств не было: насколько я знаю, это было единственное издательство, печатавшее литературу другого народа (в оригинале и в переводах) и учрежденное иностранцами, людьми иной культуры.

Одним из первых наших изданий был *Russian Literature Triquarterly* – это была идея Карла и его любимое детище. Образцом для него послужил пушкинский “Современник”, и этот толстый журнал явился своего рода революцией в славистике. В нем печатались переводы, статьи, библиографии, и особый раздел был посвящен текстам и документам на русском языке.

Мы много раз ездили в Россию и познакомились со многими прекрасными писателями и учеными. Уже в 1972 году “Ардис” представлялся надежным местом для публикации за границей и стал играть активную роль в русском литературном процессе. Мы были совсем американцы, и поэтому нельзя сказать, что всегда понимали советский мир (хотя Карл полагал, что чтение Салтыкова и Гоголя – достаточная подготовка), но я бы сказала, что у нас было сильное чувство к людям и к их стране.

Долгие годы застоя и возобновление репрессий привели к полному гражданскому разочарованию. Тем не менее Карл предвидел конец советской тирании, пусть и в отдаленном будущем. Вот цитата из его речи на конференции “третьей волны” в Лос-Анджелесе в 1981 году, когда лишь немногие могли вообразить конец Советского Союза:

Советская система изменится. Меняется все, и ей этого не избежать, потому что она по сути лжива, посредственна и слаба.

Видеть в советском марксизме почти космическое воплощение зла – значит просто добавлять ей силы. Менее апокалиптический взгляд: СССР – это всего лишь самая большая в мире банановая республика. Как избавляются от диктаторов, присуждающих себе литературные (и разные другие) премии, хорошо известно. Неодостоевские заклинания насчет сил тьмы и опасности чересчур больших свобод для индивидуума не выдерживают критики.

Когда русские вполне это осознают, как поляки, новая революция может случиться чуть ли не вдруг.

Читатели могут удивиться, почему, будучи знаком со многими интересными писателями, Карл решил начать воспоминания с литературных вдов. Ответ будет связан с его отношением к женщинам вообще. Карл провел много времени в обществе соревнующихся мужчин и, может быть, поэтому часто говорил, что женщины лучше мужчин. Он был демократ по своему складу и искренне рассматривал женщин как равных – в то время, когда это при-

знавали отнюдь не все. Его представление о роли женщины в обществе не ограничивалось только русскими делами: в 1982 году, когда у него диагностировали рак, он написал статью о Национальном институте здоровья, единственном месте, где согласились его оперировать. Эту статью перепечатали многие газеты. В ней он утверждал, что самые важные люди в больнице – медсестры.

Вдовы, описанные в этой книге, отважные хрупкие женщины, бились за то, чтобы сохранить наследие писателей, которым грозило забвение в советской системе принудительной амнезии. Они проявляли героическую преданность и упорство в этой борьбе, и Карл относился к ним со всей внимательностью и уважением, какого заслуживают такие люди.

Одной из главных побудительных причин для написания этой книги было знакомство с Надеждой Мандельштам, вдовой великого поэта, автором двух замечательных книг воспоминаний. Чтобы подружиться с нами, ей пришлось преодолеть страх. Русские, не жившие в то время, могут не понять, как важно было доверять иностранцу, чтобы впустить его в свою жизнь. Нашим друзьям приходилось принимать решение, что они нам доверяют, а нам – быть осмотрительными, чтобы их доверие не обмануть. Нам очень повезло, что Надежда Яковлевна решила нам довериться, – повезло не только потому, что она всех знала и эти люди впускали нас в свой дом, но и потому, что, просто разговаривая с ней за чаем, мы общались к великой погибшей русской культуре начала XX века.

Меня Надежда Яковлевна поняла быстро, а немногословный, не сразу открывавший себя Карл вызывал у нее любопытство. В начале нашего знакомства она спросила его, верит ли он в Бога. Карл ответил, что он агностик, и она была разочарована. Когда мы подарили ей русскую Библию, она была озадачена и спросила Карла, почему он привез ей эту книгу, если сам неверующий. “Потому что для вас она важна”, – сказал он.

За годы поездок мы познакомимся со многими русскими литераторами и были огорчены условиями их существования: в лучшем случае под цензурой, в худшем – в тюрьме. Насмотревшись на это вблизи, Карл пришел в ярость. Его трудно было рассердить, но гнев его бывал сильным и действенным: он определенно сыграл роль в нашем решении публиковать то, что не могло быть опубликовано в Советском Союзе, восстановить утраченную библиотеку русской литературы.

Трудно передать, до какой степени была насыщена русской литературой наша жизнь. В Энн-Арборе наши дети на лужайке играли летающей тарелкой с собаками, а в гостиной наши друзья ели пиццу и паковали книги; мысли же наши были заняты Россией и нашей работой для России, такой же реальной для нас, как все в нашем американском существовании. Из Энн-Арбора в Ленинград и Москву 20 лет тянулась невидимая нить, соединявшая нас с советским литературным миром. Русские писатели – и эмигранты, и советские – посещали нас или останавливались на время; с другими мы непрерывно переписывались.

Иногда мы были вынужденно включены в шумно разлаживающиеся частные жизни – большой источник комизма. За работой в поздние ночные часы рождался сумасшедший домашний юмор “Ардиса”: “Конкурс двойников Мариэтты Шагинян” (номинировались и мужчины); конкурс “Найди Книппер на картинке” (“*Find the Knipper in the Picture*”) – надо было выбрать из множества портретов, живописных и фотографических, портрет долгожительницы – вдовы Чехова.

Карл был остроумным человеком с острым чувством абсурда и склонностью к мистификациям. Это проявлялось и в его ученых занятиях. Через много лет после его смерти молодой датский набоковед прислал мне отчаянное письмо: не может найти цитату из “Поминок по Финнегану”, которую Карл приводит в одном из примечаний в “Ключах к «Лолите»”. Такого отрывка в романе и не было. Карл его сочинил, но не на пустом месте: это был такой

джойсовски-набоковский абзац, полный намеков на историю нашего знакомства и его ухаживания. Карл был бы доволен, а Набокова позабавило бы, что молодому бедняге датчанину пришлось *два раза* прочесть заумный роман Джойса.

В “Ардисе” мы вступили в своего рода общение и с русскими писателями прошлого – не только современниками, – в особенности с акмеистами и футуристами: собирали их фотографии, переиздавали их книги, писали предисловия для американских читателей. Двадцать семь лет Карл жил американцем в русской литературе. Иногда казалось, что наша жизнь и эта литература находятся во взаимодействии.

Карл доживал последние месяцы и знал это; мне, заканчивавшей книгу о Булгакове, мучительно было писать о смерти Булгакова и страданиях Елены Сергеевны – я сама переживала нечто подобное. Карл в это время много думал о смерти Гоголя.

Трудоголик и вдохновенный учитель, Карл и в эти два последних года операций и химиотерапии как-то находил в себе силы преподавать. Одно из последних занятий было посвящено “Смерти Ивана Ильича” Толстого. Я захала за ним в университет и спросила, как прошло занятие.

“Я сказал им, что Толстой неправ, что я сам умираю и испытываю совсем не то, что у Толстого. Я умираю не одиноким, вокруг мои друзья и родные, и я чувствую их любовь”.

Потом он засмеялся. “Не думаю, что студенты скоро забудут этот семинар”.

Через четыре месяца, 24 сентября 1984 года он умер, оставив горевать четырех детей, своих родителей, брата, меня и наших друзей в России. Ему было сорок шесть лет.

Сам Карл Проффер был бы удивлен, что эту маленькую книгу перевели на русский. Я знаю, что он собирался делать в жизни дальше. Он хотел написать историю цензуры, а затем новую историю русской литературы – но никакого “дальше” не было, никаких историй, только эта книжка, маленькое приношение русскому читателю, которого сам он не предполагал.

2016

Примечания к тексту

Многое из собранного здесь написано за восемь месяцев перед смертью Карла в сентябре 1984 года. Основанием послужили наши дневники и записи. Профессор Кристина Райдел слегка отредактировала оригинальные тексты, уважая желание автора, чтобы они не были слишком приглажены. В нужных местах я добавила свои примечания.

“Вдовы России” не та книга, какую задумывал автор. Карл хотел написать еще о многих людях, которые были важны для нас, – о Копелевых, Войновиче, Аксенове, Соколове и других. Летом 1984 года он только еще собирал основной материал об Иосифе Бродском, но остановил работу, когда начались ужасные головные боли. Надо подчеркнуть, что часть о Бродском не только не дописана, но и не выверена: есть очевидные ошибки в рассказе о событиях, свидетелями которых мы не были сами. Несколько важных отрывков из этих заметок я использовала в моей книге “Бродский среди нас”, так что лишь небольшое из этой части будет новым для читателя данной книги.

Эллендея Проффер Тисли

Литературные вдовы России

Надежда Мандельштам

Добираться до нее всегда было сложно. Она жила в Новых Черемушках, застроенных новыми уродливыми типовыми домами, выросшими вокруг старой Москвы. Таксисты из центра, хотя и не признавались в этом, лишь смутно представляли себе, как найти Большую Черемушкинскую улицу. Со временем мы запомнили долгую дорогу от Ленинского проспекта до станции метро “Профсоюзная” и дальше, и, по просьбе Н. М. – она боялась слишком заметного визита иностранцев, – высаживались, не доезжая до нее. Перед ее домом, одной из трех одинаковых многоэтажек, “башен” (как она их называла), проходила трамвайная линия, но прямого трамвая или автобуса из центра не было, поэтому мы всегда приезжали на такси. Надо было перейти рельсы и по разбитой дорожке, губительной для автомобилей, обойти дом к ее подъезду. В подъезде было темно, как во всех московских домах, и пахло мусором и канализацией. Дверь слева от тесного лифта открывалась в коридор, который вел к ее квартире.

Семнадцатого марта 1969 года, днем, в половине четвертого мы впервые позвонили в ее дверь, сильно сомневаясь, что пришли туда, куда надо. Как всегда впоследствии, было долгое ожидание, затем шарканье ног, дверь приоткрылась на цепочке, голос попросил нас назваться, и дверь наконец открылась окончательно. Маленькая пожилая дама впустила нас, отступив в сторону, и провела на кухню.

Квартира состояла из передней – сразу справа дверь в туалет и ванную – и двух комнат: спальни за дверью слева и кухни справа. И кухня, и спальня смотрели окнами на трамвайную линию. Кухня была размером примерно два метра на четыре с небольшим (раскинув руки, я мог почти достать до обеих стен), а спальня – метров пять на три с половиной. Дом был сравнительно новый, но все уже выглядело обшарпанным. В первые посещения мы разговаривали почти исключительно на кухне, позже, когда она слегла, сидели у нее в спальне.

В кухне стояли маленькая газовая плита, холодильник, шаткий стол, пара ненадежных складных стульев из дощечек, пара примитивных трехногих табуреток и в углу у окна жесткий диванчик с высокой спинкой – на нем она обычно и сидела с Эллендеей. (Там ее сфотографировала в тот период Инге Морат.) Спальня тоже была обставлена скудно: кровать, два столика с лампами, низкий комодик и письменный стол с креслом. На стенах холсты Вейсберга и Биргера, повешены высоко по русскому обыкновению. Телефон с вилкой переносится из комнаты в комнату при необходимости, но обычно его место – в спальне. Там же неизменно вазы с сухими цветами – рогозом и другими. Голые лампочки и голые полы тепла не добавляли. Н. М. сознавала, что жилье неуютно, но говорила, что понадобилось проработать всю жизнь, чтобы получить хотя бы это на старости лет. У нее – водопровод и другие удобства, которых она была лишена большую часть жизни, и, относясь к обстановке жилища презрительно, она была рада ему. С тех пор как она покинула отчий кров, у нее не было собственного жилья, настоящего “дома”. Когда она жила с Осипом Мандельштамом, им и комнату трудно было найти, не то что квартиру. А время, когда она преподавала в разных провинциальных заведениях, тоже было кочевым, так что эта квартира стала вершиной ее материальных достижений. По советским меркам квартира была неплоха, но, как и большинство квартир, которые мы повидали в Москве, в американском городе считалась бы бедняцкой.

Н. М. говорила, что у квартиры этой есть еще одно достоинство – здесь обычно тихо, несмотря на трамвай. Правда, пожаловалась, что с наступлением тепла улица становится

шумнее. Зимой холод и снег приглушали звуки, это ей нравилось. А Первомай, например, терпеть не могла, не только из-за праздничного шума, но из-за того еще, что он ассоциировался с арестом Мандельштама. Но, по крайней мере, не коммуналка с кухонными склоками и грязью в общем туалете. Главными шумами, которых она, вероятно, не замечала, были здесь ее собственное тяжелое дыхание и тиканье любимых часов с кукушкой, неутомимо отмечавших каждую четверть часа.

Н. М. была неважной домохозяйкой, но чистоту в квартире поддерживала. Мы уже привыкли к относительной бедности большинства русских, и все-таки тяжело было видеть ее в столь стесненных обстоятельствах. Как бы ни были бедны наши знакомые русские, они изо всех сил старались, чтобы для гостей на столе были еда и питье. У Н. М. стол был всегда скуден – по той простой причине, что она была бедна. Она не жаловалась, но не думаю, что ей нравилось ее положение и что она была равнодушна к “хорошим” вещам. В общем, из всех знакомых нам писателей она была самой бедной, и бедной была дольше всех – это было продолжением ее жизни с Осипом Мандельштамом. Вдовы, чьи мужья при жизни не подверглись гонениям, существовали благополучно. А в тот первый день угощение было типичным: в разномастных кружках крепчайший чай с сантиметром чаинок на дне вдобавок к плавающим на поверхности, сахар в сахарнице, немного хлеба, сыра и, может быть, масло.

За чаем – и разговорами – Н. М. непрерывно курила “Беломор”, папиросы, названные в честь канала, построенного рабским трудом (и с большой помпой) при Сталине, в тридцатые годы. Табак она называла “дерьмом из братских могил” – в память о тех, кто умер на канале. В первый раз она с улыбкой показала на почернелую кастрюлю на полке – это был “исторический архив”, где спаслось от конфискации много стихов Мандельштама. Улыбка была говорящая – не то чтобы гордая, но и не многозначительная.

Рекомендовал нас ей друг, которому она доверяла – Кларенс Браун, известный специалист по Мандельштаму. В первый наш визит Н. М. немного разыгрывала роль вдовы поэта. Но тогда мы слабо представляли себе, кто такой Мандельштам и кто такая она, поэтому не задавали обычных вопросов, и она поняла, что можно держаться с нами менее официально. О. М. мы знали по нескольким стихотворениям, которые прочли в магистратуре, и для нас все писатели того периода (начала XX века) были такими же мертвыми классиками, как Достоевский и Толстой. Отчасти из-за нашей молодости и неискушенности нам не приходило в голову, что эти писатели чуть ли не наши современники и что люди, знавшие их – и даже жившие с ними, – еще живы. Дело шло к вечеру, Н. М. рассказывала нам о каждом, кого мы называли, все больше увлекая нас и очаровывая.

Она, казалось, знала всех писателей, кого мы могли вспомнить. Особенно поразило нас, что она знала Блока и бывала на собраниях символистов и футуристов (например, в “Бродячей собаке”). Она вспоминала времена, о которых мы знали только из книг. Мы без конца задавали вопросы, и она без конца нас удивляла – не только самими историями, но и резкостью, независимостью своих суждений о людях и событиях, которые были известны нам только по устаревшим книгам наших славистов. (Надо учесть, что ее книги еще не были напечатаны – а многое из того, что она нам рассказывала, было уже в ее рукописях, – опубликуют их только в 1970 году в Нью-Йорке.)

Она была живая и трогательная, добродушная и озлобленная одновременно. Если она кого-то осуждала, то без горячности, настоящий же гнев пробуждался в ней, когда речь заходила о том, как обращались с О. М. Мы спросили, например, об Исааке Бабеле – на Западе принято было считать, что рассказчик в “Конармии” психологически соответствует автору. Она рассмеялась и сказала, что на самом деле Бабель был совсем не такой, но если читать книгу особенным образом, можно сообразить, каким он был. Он был ярким, умным – и осторожным. Любознательность заводила его на странные дорожки: по приглашению своих друзей-чекистов он наблюдал за допросами в ЧК. Ее это не столько ужасало, сколько печалило.

Поскольку Бабель не сделал Мандельштаму ничего плохого, в ее мемуарах об этом не говорится. Несколько раз она заговаривала о том, как революция и гражданская война могут подействовать на людей, которых возбуждает насилие, как в них просыпается кровожадность.

Она и нам задавала много вопросов: об Америке, о том, как мы оказались в Москве, о нашей личной жизни. На нее произвели впечатление внешность Эллендеи и манера. Ей нравились люди, которые говорят что думают, так же, как она сама. Мы с самого начала расположились друг к другу. Ей, по-видимому, понравилось, что мы не русского происхождения, а любим русскую культуру, и что мы не специалисты по Мандельштаму. Ей понравилось, что мы оба пережили разводы, и она утверждала, что вторые браки всегда лучше. Ее настолько интересовали эти подробности личной жизни, что она даже простила нам наше равнодушие к религии – сказала, что “со временем” мы поймем. Поймем важность Бога и религии, сказала она, – “и все, что произошло здесь [в России], произошло из-за этого”. Тогда еще особых признаков религиозности в квартире не было, но православие ее было уже очевидно.

Во второй раз мы привезли ей русскую Библию, которую дал нам Роджер Харрисон, баптистский священник, в то время пастор посольства. У Роджера был большой запас этих запрещенных книг, часто он возил их под старой одеждой в багажнике своего хэтчбека, красной “барракуды”. Роджер рассказал нам, что одного скандинавского студента, учившегося по обмену, выслали из Союза в основном из-за этого. Роджер возил их осмотрительнее. Н. М. не могла понять, почему мы, неверующие, рискуем, везя ей Библию, – но была очень признательна. Из всех полезных подарков, которые мы приносили ей в эти первые посещения, Библиям (мы приносили ей еще) она радовалась больше всего. Она сказала, что первая пошла библисту, который делал всю работу, не располагая собственной книгой.

В конце нашего двухчасового визита в День святого Патрика в 1969 году она пригласила нас заехать как-нибудь днем еще раз. Она с удовольствием разговаривала по-английски, но жаловалась, что я говорю слишком тихо, а Эллендея слишком быстро. В этот первый раз мы переходили с английского на русский и обратно, и так продолжалось еще несколько лет. Потом здоровье и слух у нее стали сдавать, и большей частью мы беседовали по-русски. Но писала она нам почти всегда на английском и очень ругала себя за ошибки. Самое первое письмо, ноябрьское 1969 года, она закончила так: “Простите за ошибки в правописании... 70 лет – и безграмотная...” Она любила все делать хорошо.

И в 1969 году в ней все еще чувствовалась молодая богемная художница. Можно предположить, что в молодости ее мало заботила материальная сторона жизни и как реагируют люди на ее шокирующий язык и довольно дерзкие высказывания – вкуса к которым она не утратила и теперь. (Большинство знакомых нам пожилых русских женщин – да и не таких уж пожилых – поежились бы или просто сбежали от соленых словечек Н. М.) В ней сохранились еще черты прежней “Наденьки”, начинающей художницы, которая легла с Мандельштамом в постель в первый же день их знакомства.

Интерес к искусству у нее сохранился. Она любила поговорить о Тышлере и художниках десятых и двадцатых годов. Среди особых ее гостей были и современные известные художники, такие, как Владимир Вейсберг и Борис Биргер. У нас создалось впечатление, что ей нравится напускать их друг на друга. В спальне у нее висела картина Вейсберга – белое на белом, и когда мы были у нее в первый раз, она повела нас посмотреть ее. Вскоре мы познакомились с Биргером – позже он написал портрет Н. М., но вряд ли он ей очень нравился: некоторым виделось в нем что-то от ведьмы. Нам же, наоборот, он понравился.

Характерно, что единственным общественным мероприятием, куда она нас пригласила с собой, была первая серьезная выставка Натальи Северцовой – и всего вторая в ее жизни. Северцовой уже было под семьдесят. Выставка занимала зал и коридор Архитектур-

ного музея, поблизости от Ленинской библиотеки. То, что ее устроили здесь, а не в обычной галерее, было знаком, что она не признанный официально художник.

В тот апрельский день 1969 года, когда Н. М. привела нас на выставку, мы поняли, почему ее сделали не в государственной галерее. Работы были выполнены в стиле примитивизма, иногда на грани сюрреалистического в деталях. Ее чудесное чувство юмора едва ли могло порадовать солидных граждан. Много было русских чертей. Советские бани и свадьбы – но большей частью изображенные иронически. Женщины в бане – гротескно толстые и непривлекательные. Адам и Ева под деревом с семью ветвями, на обоих – громадные уродливые советские часы. Портрет советской семьи в том же духе – ближе к сюрреальному миру художника-эмигранта Давида Мирецкого, чем к советской эстетике. Ее старик в шляпе выглядел бы социально опозитизированным, но он в компании с бутылкой водки. Зрителям живопись нравилась так же, как нам, и в книге отзывов были одни похвалы.

Н. М. предложила нам сказать Северцовой (ее старой подруге), что будь эта выставка в Соединенных Штатах, она бы вызвала большой интерес. Мы считали так же, и сказать это художнице было нетрудно. Наш комплимент и обрадовал ее, и расстроил – она сказала, что такому никогда не бывать. А когда Н. М. сообщила ей о нашем желании что-нибудь купить, она занервничала. “Я не официальная”, – сказала она извиняющимся тоном. Подумав немного, она сказала, что согласна продать, только не такое, что “они” могут счесть “отрицательным” – как портрет семьи. Она не то чтобы выглядела испуганной, но ясно дала понять, что не может делать все, что ей нравится.

По этому случаю Надежда Яковлевна, принимавшая нас в некрасивых домашних платьях, оделась очень хорошо. На ней была длинная темная шерстяная юбка, изящный свитер и щегольски наброшенный на шею шарф. Эллендея сказала, что она элегантна и наряд определенно выдает в ней художницу.

В этот раз Н. М. была очень спокойна и уверена в себе и с удовольствием водила нас по выставке, указывая на интересные особенности холстов. С этой стороны мы мало ее знали и в следующий раз снова увидели вне квартиры, на публике, только в 1977 году.

То, что Н. М. взяла нас на выставку Северцовой, было знаком ее расположения, но мы побывали у нее еще несколько раз, прежде чем она пригласила нас на званый вечер. Среди прочего она сказала, что хочет познакомить нас с художниками Вейсбергом и Биргером.

В тот вечер мы могли наблюдать настоящий “салон” Надежды Яковлевны. Пришло еще не меньше десятка человек, и вскоре уже негде было сесть. Люди бродили между кухней и спальней, принесенные бутылки вина и водки быстро опустели. Позже, вспоминая о вечерах у Н. М., Раиса Орлова говорила, что там собирались лучшие умы, талантливые художники, писатели, богословы, священники и философы. Мы этого не понимали, будучи блаженно непосвященными – хотя Кларенс Браун говорил раньше, что нам понравится ее окружение. В тот первый вечер среди гостей были: Биргер (его полный каталог мы через несколько лет напечатали, а картины его висят в крупнейших европейских собраниях), Андрей Сергеев, переводчик Роберта Фроста, Т. С. Элиота и других, и Лев Копелев с Раисой Орловой, известные литературные критики и участники диссидентского движения.

Вечер был полон “русских разговоров” на темы, из-за которых быстро разгорались страсти. Был ожесточенный спор между Львом Копелевым, который родился и вырос на Украине и горячо защищал украинскую культуру, и Сергеевым, с презрением отзывавшимся о “провинциальных” литературах и высокомерно доказывавшим, что украинский даже нельзя считать настоящим языком. Разговор велся на повышенных тонах и, если бы не блестящее общество, закончился бы как минимум взаимной бранью. Спор оборвался вдруг – оба гневно замолчали. Сергеев выступал в роли бойцового петуха и нападал на харизматичного Копелева просто ради того, чтобы произвести впечатление.

Н. М. любила Сергеева отчасти, думаю, за переводы Элиота; кроме того, он был большим собирателем первоизданий, в том числе Мандельштама. Она сказала нам, что если мы с кем-то еще познакомимся в Москве, то прежде чем вступать с ним в деловые отношения, нужно пойти к Сергееву, и он скажет нам, “хороший” это человек или “плохой”. Мы действительно обращались к нему за помощью, и раз или два он нас предостерег.

Так мы впервые наблюдали советский салон и обнаружили, что в каждом кружке есть кто-то “ответственный” за безопасность, кто уберезет от осведомителей. В связи с этим хочу сказать о страхе Н. М. вообще. Этот страх бросился нам в глаза при первой же встрече. Она рассказала нам, что, когда Кларенс Браун пришел познакомиться с ней, она спряталась за дверь у Ахматовой и боялась показаться. Она часто говорила, что ее могут арестовать. Мы пытались ее успокоить, но каждый раз, как и по другим поводам, она отвечала, что мы просто “не понимаем”. Когда мы приезжали к ней, она, бывало, выглядывала в окно – нет ли за нами слежки. С выходом каждой книги страх в ней усиливался. Но ее так и не арестовали до самой смерти.

Н. М. боялась с начала и до конца. Но в этом она не отличалась от соотечественников – и все основания для этого были. Сколько раз за эти шесть месяцев 1969 года, придя в новый дом и спросив о фотографии на стене или на столе, мы получали обескураживающий ответ: это мой отец, расстрелян в 1937 году. (Родственник или год могли быть другими, но шок от услышанного – всегда такой же.)

Да, соглашались мы: такое может поселить страх надолго. Если на то пошло, мы сами постоянно испытывали страх, такой иногда, что у нас по несколько дней болели животы – из-за историй, которые приходилось услышать, и из-за того, что занимались противозаконными делами, в частности добывали и раздавали много книг, в том числе особенно опасных, как “Доктор Живаго” на русском, романы Солженицына, Оруэлла, Библию и т. д. Обычны были аресты иностранных студентов и обыски: одну пару, учившуюся по обмену, выслали из СССР, когда жену взяли прямо на улице. Если наш страх был объясним, то что говорить о Н. М. и многих других, которым выпал на долю хищный век.

В случае Н. М. страх был особенно понятен. В 1969 году отношение властей к Солженицыну быстро менялось, ходили слухи о его наказании. Первая книга воспоминаний Н. М. уже готовилась к печати за границей. В 1970-м и русское, и английское издания вышли в Нью-Йорке. Советским писателям, печатавшимся за границей, угрожало уголовное преследование; с 1929 года до начала шестидесятых на это решались немногие. Истории с Бродским, Синявским, Даниэлем и Солженицыным оптимизма не вселяли. Политическая атмосфера ощутимо менялась, и трудно было предугадать, как отреагируют власти. С одной стороны, старую женщину вряд ли утащат на Лубянку. С другой стороны, у нее вполне могут отнять пенсию, квартиру, что угодно. Могут выслать из Москвы куда-нибудь в глухомань, о чем она думала со страхом и отвращением. К счастью, благодаря разрядке 1970-е годы стали самым безопасным временем для писателей, публиковавшихся за границей, но в 1979 году это снова стало опасным.

То, что, несмотря на страх, Н. М. опубликовала свои книги за границей, говорит о размерах ее отваги. Она предостерегала всех – от Бродского в шестидесятых до Кристины Райдел в конце семидесятых. И мы получали такие же советы: не подъезжайте на такси, не звоните из гостиницы, не разговаривайте по-английски, когда идете к квартире и когда уходите, идите быстро, старайтесь не привлекать внимания к тому, что вы иностранцы и т. д. Когда мы приходили, она почти всякий раз закрывала занавески в обеих комнатах. Мы говорили ей, что вряд ли власти что-то сделают со старым человеком, но она только смеялась: бедные наивные иностранцы. “Они” сделают что угодно, и никакая известность тебя не защитит – “им” плевать на общественное мнение.

В прошлом июле [1983 года. – Э. П. Т.] я спросил Иосифа Бродского, всегда ли Н. М. боялась, и он сказал: “Когда мы с Мариной пришли к ней в первый раз, она испугалась – она не знала, кто мы”. Но она была такой необыкновенной, такой независимой, что трудно было поверить в ее страх. Эта женщина могла сказать что угодно и о ком угодно, невзирая на общепринятое мнение. Но во время нашего первого посещения, когда в споре Эллендея полушутя назвала какое-то высказывание Маркса “глупым”, Н. М. побледнела и шепнула ей: “Никогда не говорите здесь такого!” На протяжении десяти лет мы посещали ее почти ежегодно и всякий раз при расставании слышали в том или ином варианте: “Через год меня здесь не будет”. В последний раз Эллендея увидела ее в 1980 году (мне отказали в визе) и запомнила шаркающие шаги больной Н. М. за дверью и щелчки многочисленных замков. “Она все еще боится... Женщине восемьдесят лет, и она все еще боится”, – с грустью сказала мне Эллендея.

Из ее конкретных страхов один нам казался парадоксальным, хотя говорили о нем и другие интеллектуалы. Она боялась народа. Когда она впервые сказала об этом, я спросил: в каком смысле? Она отодвинула занавеску, показала на улицу и сказала: “Ихтам”. Она имела в виду обычных людей России. После всего пережитого она пришла к мысли, что, если будет дан нужный сигнал, в людях снова проснется кровожадность и любой прохожий будет способен уничтожить ее и ей подобных – евреев и интеллигентов. “Они нас ненавидят, – сказала она, – за то, что у нас есть”. Если бы не власть, сказала Н. М., они с удовольствием убивали бы таких, как она. Парадоксально, заметила она, но в данном случае именно власть – защитница интеллигенции. Низшие классы имеют гораздо меньше, чем “богатые” интеллигенты, и поэтому ненавидят их.

Между прочим, Н. М. чрезвычайно боялась молодых людей, особенно советских. Она постоянно напоминала нам, чтобы мы были осторожны относительно того, кого приводим к ней или присылаем. Поэтому, когда мы пришли к ней вдвоем в феврале 1977 года и сказали, что с нами в поездке трое молодых редакторов “Ардиса”, она удивила меня, попросив привести их с собой. Обычно она в таких случаях возражала. Эллендея давно хотела познакомиться Н. М. со своей лучшей московской подругой Таней; Н. М. согласилась с большой неохотой и даже в 1980 году, когда Эллендея привела Таню второй раз, Н. М. была при ней крайне осторожна. Отчасти ее подозрительность сохранилась с тех лет, когда она преподавала молодым английский язык. Преподавание она терпеть не могла, и опыт научил ее, что некоторые из студентов вполне могут оказаться осведомителями.

В книгах Н. М. проявляется другая ее сторона – Н. М. победительницы. Не представляю себе, чтобы какому-нибудь другому русскому достало смелости написать, как она в первой книге: “Мы все пошли на мировую: молчали, надеясь, что убьют не нас, а соседа. Мы даже не знали, кто среди нас убивал, а кто просто спасался молчанием”. Даже Солженицыну не хватило смелости написать такое; вслед за Достоевским он держался мысли, что страдание предшествует благодати и русские спасут “Запад” от коммунизма.

Оба Мандельштама были живой иллюстрацией трюизма, что тихий и кроткий совершает иногда поступок исключительной храбрости и сам потом не может его объяснить. Общеизвестный пример – нападение Осипа Мандельштама на чекиста Блюмкина. Было такое и у Н. М., и, по-моему, об этом не писали. Она рассказывает об этом на магнитофонной записи, сделанной Кларенсом Брауном в марте 1966 года. В 1930-м, благодаря Бухарину, Мандельштамы прожили два месяца, как ни странно, в цековском санатории на юге. Там же тихо себе жил прославившийся вскоре комиссар Ежов. Хромой Ежов любил танцевать – видимо, была в нем такая эксгибиционистская жилка. В тот вечер Н. М. случайно услышала, как один грузин говорил другому, что, если бы умер великий грузинский поэт, грузинский нарком не танцевал бы. Н. М. подошла к Ежову и в точности повторила услышанное. “И танцы сразу прекратились”, – рассказывает она. Затем в записи короткая пауза,

и она добавляет: “Ничего? Это у меня есть, между прочим”. Таким вопросительным комментарием “Ничего?” или “Сильно?” она любила заканчивать какую-нибудь особенно удивительную историю.

Другая интересная черта Н. М. – такого обычно не пишут в воспоминаниях о больших русских писателях – ее отношение к сексу. Учитывая ее собственную мемуарную практику и твердое желание рассказывать обо всем без страха, было бы оскорбительно не записать то, что она говорила. Прямота Н. М. была тем более необычной, что большинство русских – особенно женщин – держатся весьма пуритански в разговорах о сексе и пишут о нем уклончиво до нечестности. Для Н. М. откровенность в речи была естественна, изъяснялась она не только смело, но и смешно. Дело не в том лишь, что приличия ее мало заботили, – не знаю человека, который мог бы так рассмешить меня своими афористическими “непристойностями”.

Сама она никогда не была хорошенькой, но, без сомнения, была привлекательной для мужчин. Во всяком случае, когда мы только познакомились, следы этой привлекательности еще были заметны. Это было в ее глазах и улыбке, в ее откровенности и обаянии – не в теле, которое, вероятно, всегда было худым. Всякие грешки – и Блока, и собственные – могли быть предметом шутки или истории, сообщаемой весело и с удовольствием. Не думаю, что она кого-нибудь когда-нибудь осуждала (кроме О. М.). “Неприличностей нет”, – говорила она. Она рассказала нам, что отправилась с О. М. в постель в первый же вечер их знакомства, а говоря о “бурных двадцатых”, любимом периоде Эллендеи, отмахнулась: “Мы это все придумали”. Здесь тоже слышался вольный дух богемы. Она мирилась почти со всем, что выкидывал О. М., но пишет в воспоминаниях, что, когда он увлекся Ольгой Ваксель, была очень рассержена. Она рассказала об этом Эллендее до того, как мы прочли ее книгу. На магнитофонной записи она говорит, что это был единственный случай, когда дело чуть не дошло до развода. Рая Орлова вспоминает, как она была ошарашена, когда Н. М. увела ее на кухню и спросила: знает ли она, что такое *ménage à trois*¹. Рая не знала. Н. М. сказала, что они прожили втроем шесть недель, и это самое стыдное воспоминание в ее жизни.

“Втроем” возникало несколько раз в наших литературных беседах. Одну знаменитую историю – о Маяковском, Лиле и Осипе Бриках – она отмела сразу: судя по всему, они жили целомудренно, в разных комнатах. Объясняя биографическую подоплеку ахматовской “Поэмы без героя”, она сказала, что у Ахматовой, Ольги Судейкиной и Блока была любовь втроем. Одно из писем к нам, написанное Н. М. по-английски, дает представление о том, как она обычно говорила о писателях и литературных героях:

[1971]

Дорогие Эллендея и Карл!

Попытаюсь ответить на ваши вопросы о “Поэме без героя”. Прежде всего: это действительно было – Ольга провела ночь с Блоком. Думаю, “без лица и названья” не цитата, хотя может и быть. Сомневаюсь, что “Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай” адресовано Ольге. Это – строки из стихотворения “В ресторане” – 1910. Роман с Ольгой происходил в 1912/1913 (не помню). Ахматова привела эти слова, чтобы Блока наверняка узнали. У Кузмина был роман с Князевым. У него не могло быть романа с Ольгой, но она бывала у Кузмина. У Ахматовой был роман с Князевым. Никаких подробностей не знаю. Только, что у Ольги и Ахматовой было много общих любовников (Лурье и другие). Гумилев не имел к этому никакого отношения. В то время они жили отдельно. (“Разве мы не встретимся взглядом” обращено к Недоброву, который был первым любовником Ахматовой.) Почему Судейкина отвергла его [Князева]? Кто знает? Женщины не обязаны делать то, о чем их просят... Они могут выбирать, правда? Ольге было лучше знать, почему она кого-

¹ Семья втроем (фр.).

то выбрала. Просто Ахматова думает, что в данном случае она предпочла Блока. Почему бы и нет? “И как враг его знаменит”. Это, конечно, Блок. Возможно, Князев был одним из мальчиков Кузмина (как Юркун). Не уверена в этом. Почитайте “Форель разбивает лед”. Там должно быть что-то насчет этой драмы. Может быть, Ольга не любила мальчиков такого рода (как Юркун, Георгий Иванов), которые и так и сяк... У них и женщины, и мужчины (Юркун, Иванов). Не знаю, был ли и Князев из них.

Этот тон, временами игривый, был типичен для ее разговоров о сексуальных предпочтениях.

Несколько человек утверждали, что у самой Н. М. были лесбийские отношения после Мандельштама, и она, упоминая о таких вещах в связи с Ахматовой (“Были девушки”), никогда никого не осуждала. О себе, однако, предпочитала не распространяться. Однажды, когда Н. М. показывала нам фотографии, и на одной из них она была запечатлена в возрасте лет двадцати, Эллендея сказала: “У вас тут очень соблазнительный вид”. “Это тоже было”, – со смехом ответила она. А когда мы разговаривали об их отношениях с О. М., она сказала, что изменяла ему всего несколько раз. И добавила, не совсем в шутку: “Надо было чаще”.

Однажды мы говорили о том, какие книги могли бы ей прислать, и я почему-то затронул тему порнографии. Она сразу заулыбалась и сказала притворно-умоляющим тоном: “Ах, если бы вы прислали мне какую-нибудь порнографию! Обожаю порнографию!” Позже Эллендея принесла ей *Cosmopolitan*, и они обсудили типичные статьи. Н. М. отнеслась к этому с большим интересом. С журнала разговор переключился на *Hite Report*². Эллендея рассказала ей о темах, рассмотренных в этой работе (мастурбации, стилях сексуального поведения, лесбийстве). “Правда, – сказала Н. М., – можете прислать мне экземпляр?” Мы прислали. В следующем году (1978) его привезла Кристина Райдел. По ее словам, они с мужем, Уэйном Робартом, преподнесли Н. М. несколько вещей. Прежде всего – разные сорта чая “Твайнинг” и три куса затейливого английского мыла с рельефной короной по случаю серебряного юбилея королевы. “Купаюсь в роскоши”, – сказала Н. М. и, сев в постели, хотя давно уже и тяжело болела, протянула один кусок женщине, которая ухаживала за ней и сейчас собиралась домой. Кристина дала Н. М. Агату Кристи и Ф. Д. Джеймс – Н. М. выразила сомнение, что та будет так же хороша, как Агата Кристи, но обещала попробовать прочесть. Последним Кристина вынула *Hite Report* и напомнила ей разговор с Эллендеей. Н. М. рассмеялась и сказала что-то в таком смысле: ну, сейчас я ни на что не годна, болею. Но завершила с широкой улыбкой, что тотчас примется за *Hite Report*, когда они уйдут, – развлекусь, по крайней мере. Немногие русские дамы восьмидесяти лет отреагировали бы так же.

В других отношениях Н. М. была типичной русской. На второй или третий раз она стала живо – а не из вежливости – интересоваться нашей семьей. Еще в первую встречу она с одобрением отнеслась к тому, что мы оба поженились после разводов: сказала, что хороший брак получается только у разведенных. После нашего возвращения из России в 1969 году, когда к нам неожиданно переехали жить три моих сына, она постоянно спрашивала в письмах, как нам живется большой семьей. Мы два раза брали с собой сыновей в Россию и еще раз – одного Криса, нашего среднего. Наши короткие визиты к ней с ребятами были для нее чем-то вроде семейных праздников. Она вспоминала, как трое мальчиков, сидя на полу в ее спальне, играли в карты. “Словно это было вчера”, – писала она в феврале 1973 года. А в 1972-м спросила, не завести ли нам еще девочку; на ее предложение мы откликнулись только в 1978 году – родилась Арабелла. В письмах она спрашивала, не может ли стать бабушкой

² Шир Хайт (р. 1942), американская феминистка и сексолог, опубликовала несколько трудов по сексологии. Здесь речь идет о первом, с подзаголовком “Общенациональное исследование женской сексуальности” (1976). Книга была бестселлером.

для мальчиков, и убеждала снова приехать, как только у нас появятся деньги, чтобы привезти с собой ребят. Просила обещать ей, что придем к ней первой: “Я не выпущу вас из кухни”.

Думаю, нежные чувства Н. М. к нашей семье объяснялись еще и ее горьким опытом. У них с О. М. не было детей, и слава богу, что не было. Жизнь была и без того искорежена, чтобы отдавать “им” на обработку еще и невинных детей. Наверное, ее грела мысль, что на свете есть нормальное место, где могут жить нормальные супруги, растить четырех детей (в русской семье теперь обычно один ребенок, исключения редки) и все делать нормально. Вот кем мы были для нее, я думаю – помимо литературы и общих интересов. Теми, на кого она могла излить душевное тепло и доброту. Станным образом, в основе наших отношений были не столько литературные интересы, сколько эти чисто личные связи.

Но Н. М. была не только очаровательной личностью и другом, но еще нашим первым замечательным учителем – такая роль часто выпадала вдовам в России. О своей стране она говорила: “У нас нет общества”, имея в виду, что неофициальные люди не могут объединиться, что они, в первую очередь, лишены средств сообщения. Это верно, собственных средств коммуникации у них не было и нет, но в период 1965–1979 годов такие вечера, как у нее, способствовали существованию культурных кружков России. Кружки эти в большой степени ограничивались двумя столицами – но они существовали. Вечера у Н. М. и у других людей, в том числе писательских вдов, были важными источниками информации, местами, где происходил обмен мнениями, обучение истории. Слова Ахматовой, что это была “догутенберговская” эпоха, справедливы. При наглухо закрытых дверях типографий и копировальных комнат, копировальная бумага была, вероятно, самым действенным оружием в распоряжении свободомыслящих русских. А еще – разговоры.

Вдовы писателей хранили подлинную русскую культуру, которая была заперта, зачеркнута, запрещена и замалчиваема не только в официальной прессе, но и везде, где правит партия: в библиотеках, университетах, театрах и кинотеатрах, консерваториях, художественных институтах, в Союзе писателей, в редакционных советах и на телевидении.

Например, молодой человек, желающий изучать Мандельштама (или Ахматову, или Гумилева, или акмеизм вообще), не мог заниматься этим в университете официально. Сейчас, когда я это пишу, ни в одном высшем учебном заведении Союза нет курса лекций или семинара по Мандельштаму; практически невозможно было бы написать о нем диссертацию. (Можно вообразить исключения: писать в отрицательном ключе, например, разоблачая “модернизм” или, все фальсифицируя, изобразить Мандельштама революционером на каком-то этапе. Или армянин напишет о “Путешествии в Армению”, проигнорировав нападки “Правды” на книгу.) Сейчас ни один советский профессор не решится открыто руководить таким диссертантом. Больше того: собрать библиографию Мандельштама и его произведения было бы труднейшей задачей, по сути, непосильной. Единственное серьезное собрание его сочинений (прежде – три тома, теперь – четыре) вышло на Западе при финансовой поддержке ЦРУ, а в России такие подрывные книги держатся в “спецхране”, в немногих больших библиотеках. Доступ к таким вредным книгам могут получить только заслуженные и политически благонадежные люди – проводники партийной линии. Что до исторических трудов и монографий, способных представить достоверный фактический фон, – такие просто не существуют.

Так что воображаемый молодой исследователь Мандельштама, готовый рискнуть тем, что сами его интересы будут подозрительны, вероятно, обратится к пожилому преподавателю с репутацией либерала, и тот – как следует подумав, можно ли ему доверять, – будет наставлять его в частном порядке, даст книги и библиографию для начала работы. Вторым шагом могло бы быть знакомство с Надеждой Яковлевной Мандельштам, которая в личных беседах, как с нами, стала бы ценнейшим источником сведений – она знала правду о прошлом и поделилась бы ею.

Н. М. нелегко сходилась с такими исследователями. Особенно не доверяла она молодым русским – опасалась их. Но серьезным ученым из многих стран помогала. Среди выдающихся результатов – книги Кларенса Брауна и Дженнифер Бейнс. К иным исследователям она относилась пренебрежительно. Несмотря на презрительное отношение к стандартной литературной критике, сама она тоже ею не побрезговала – в “Воспоминаниях” и “Моцарте и Сальери”. Она помогала многим исследователям Мандельштама всеми возможными способами – от устных рассказов до предисловий. Одного молодого английского исследователя, который посещал ее, она считала очень умным и сказала нам об этом. Мнение ее о современных школах критики было неизменно отрицательным. Она с предубеждением относилась к одному видному западному литературоведу: его просьбу дать официально подтвержденную дату их брака с О. М. она приводила как свидетельство того, что он ничего не знает об О. М. и СССР. И презирала всякие подсчеты слогов. К Кларенсу Брауну она относилась с большой любовью, хотя периодически “ругалась” с ним; в конце концов она распорядилась перевезти весь архив О. М. из Парижа в Принстон. Доверие к Кларенсу было главной причиной этого решения. А вообще ее желание переправить архив из Европы в Америку объяснялось опасением, что Европа, и в особенности Франция, не сможет долго противостоять коммунизму. Она надеялась, что, если наступит день, когда Мандельштама можно будет свободно печатать и изучать в России, архив вернется.

Память Н. М. была одним из важнейших ресурсов для всякого, кто всерьез изучает не только Мандельштама, но и всю его эпоху. Если бы кто-то предпринял попытку реконструировать те стороны Серебряного века, которые не освещены в советских книгах, люди, подобные ей, были бы ценным источником сведений. Ее частные “консультации” и вечерние салоны были тихим, но действенным способом продления и передачи русской культуры. Она была не одна, было много других вдов, уцелевших, в разной степени образованных, умных и памятливых, – и ресурсами они располагали разными. У Н. М., например, в это время практически не было книг и рукописей – маленький архив Мандельштама уже не хранился дома, а в начале 1970-х был отправлен из СССР. Обсуждая “архивный вопрос” с другими вдовами, мы говорили, что копии всего необходимо переслать за границу. Н. М. знала – и другим следовало знать, что государственные архивы были кладбищем множества важных материалов, и часть их была вообще уничтожена. Из всех, о ком мы слышали, Н. М. была единственной в литературном мире, кто отправил оригиналы за границу.

К Н. М. и к другим вдовам приходили и русские, и иностранные специалисты, писавшие статьи и диссертации, – иностранцы официально, а большинство русских в порядке личной инициативы. Впрочем, был прецедент в прошлом веке. Когда Николай I запретил изучать философию в университетах, этим занялись в кружках и знаменитых салонах Станкевича, Панаевой и других. Так что влиятельные писатели, такие, как Пушкин, Герцен или Тургенев, настоящее образование получали не в царских школах, а в философских салонах своего времени. Двум скромным комнатам Н. М. было далеко до аристократических гостиных прошлого века, но тем более впечатляет ее интеллектуальное влияние.

Н. М. неожиданно выпала роль совести нации – в первую очередь, именно это влекло к ней людей и сделало на тихий лад учителем, не только свидетелем из мира поэзии, но и свидетелем небывалого безумия, охватившего Россию после революции. Быть рядом с ней значило прикоснуться к живому поэту Мандельштаму. Салон ее слышал много дискуссий о литературе, но думаю, чаще люди приходили, чтобы услышать прямые слова о психологии и функционировании террора. Никто больше не отваживался сказать о России то, что говорила она, – сардонически, очаровательно тихим голосом.

И когда вышла вторая книга воспоминаний Н. М., где осуждение некоторых “литературных героев” двадцатых и тридцатых годов оказалось чересчур откровенным, те же люди,

которые с энтузиазмом приняли ее первую книгу, от нее отшатнулись. Для очень многих русских правде есть предел.

Страсть к агиографии – часть желания оберечь прошлое. Видеть его красивым, справедливым и трагическим.

К несчастью, в XX веке литература в СССР стала большим бизнесом. У официальной корпорации собственные традиции, в том числе производство огромной массы серой вторичной литературы, поддерживающей официально одобряемые фигуры: если о писателе написано много статей, книг, диссертаций, мемуаров и библиографий, проводятся конференции и т. д., человек начинает верить, что это значительный писатель. Даже если он стал перворазрядным поденщиком партии, как Федин или Леонов, это, наверное, так. В конце концов все (русские и иностранцы) так и рассуждают: если его черновики, варианты, дневники и восьмитомное собрание сочинений выходят стотысячным тиражом и книг уже нет в магазинах – значит, он важен. В этом советская власть убедила многих иностранцев, от Эрнеста Дж. Симмонса в прошлом до Клауса Менерта в настоящем.

Параллельно существует неофициальная вторичная литература. Как только “центральная пресса” окрестила кого-то писателем, человек начинает хранить свои письма, заводит архив, пишет анкеты, в общем, создает базу данных для будущих историков, склад сырья, по сравнению с которым то, что осталось после Пушкина или Гоголя, покажется горсткой. Писатель – священная фигура и требует почтения. Так подается (или подносится) высшая истина. Не сомневаюсь, будущим историкам потребуется два века, чтобы рассортировать скопившиеся за шестьдесят лет горы писанины, касавшейся сотен русских советских писателей, официальных и неофициальных. А для Н. М. было крайне важно отделить правду от лжи о ее времени.

Для Н. М. 1920-е годы были особой темой. В этой расхваленной эпохе она находила мало хорошего. Для любого специалиста по русской литературе, приезжавшего в Москву в 1960-х и 1970-х, это было неожиданной и обескураживающей ересью. Целое поколение славистов, доминировавших в русистике в 1950-е и 1960-е годы, и почти все эмигранты первой и второй волны рассматривали двадцатые как захватывающий период экспериментов и относительной свободы. Людям моего поколения они объясняли, что свидетельством тому, например, НЭП, без конца цитировали постановление Политбюро о художественной литературе 1925 года (там еще не говорилось о тотальном контроле партии над всем – это придет чуть позже) и ссылались на то, что расстрелы были редки.

Конечно, есть причины смотреть на вещи таким образом: 1) цензура была вяловатая; 2) больше было издательского пиратства и существовали частные издательства; 3) партия даже через свои суррогаты, вроде РАППа, не стремилась контролировать каждое слово; 4) опубликовались несколько новых крупных писателей: появился Бабель, Олеша выступил с “Завистью”, Булгаков – с “Белой гвардией”, в силе был еще Замятин, печатались стихи Пастернака, Маяковского и других поэтов. На эти доказательства можно с уверенностью ответить вот чем: 1) цензоры погубили много произведений и были гораздо строже дореволюционных; 2) роман Булгакова, например, не был напечатан полностью, поскольку публиковавший его журнал закрылся; 3) партия контролировала все, что хотела контролировать – так основательно, что Мандельштама и Ахматову изымали из печати; 4) Бабель постоянно и успешно лгал о начале своей писательской деятельности – мы узнали, что началась она не в 1916-м и не в двадцатые под покровительством Горького, а в 1913-м, в газете, закрытой большевиками; “Мы” и лучшие произведения Замятина были напечатаны либо за границей, либо до революции (в 1931 году он попросил выпустить его из страны; Булгаков обращался с такой же просьбой). Двадцатые были так хороши для Маяковского, что он отметил их окончание самоубийством.

Многих писателей заставили замолчать. ЧК расстреляла Гумилева и арестовывала других. Гораздо больше людей эмигрировали – многие под нажимом – и в дальнейшем печатались только за границей. Набоков, Цветаева, Ходасевич, Бунин и многие другие больше не считались частью русской литературы. Они не только были вычеркнуты из советских учебников – их почти так же игнорировали западные литературоведы и историки литературы. Например, до 1980-х в англоязычных историях русской литературы не находилось места ни Набокову, ни Цветаевой, ни Ходасевичу.

Те, кто не уехал, подвергались запугиванию, обыскам, арестам, шантажу, на них доносили в органы, их осуждали в прессе и на собраниях. И для многих лучших из них публикация в двадцатых годах была скорее исключением, чем правилом. Так было с Мандельштамом, Ахматовой, Булгаковым и десятками других. Список имен и приемов, использованных против них, занял бы несколько томов. Поэтому у Н. М. не просто были основания для такой оценки времени – у нее были все основания. Общее направление ясно обозначилось уже в 1926 году. Только завзятому оптимисту голодные двадцатые годы могут показаться временем художественной свободы и достижений.

Так что когда наш друг Гэйри Керн, тогда еще молодой ученый, пришел к Н. М. и стал расспрашивать о своих любимых “Серапионовых братьях”, она его совершенно раздавила, приговорив и само объединение, и почти все написанное “братьями”. Ей нравится ранний Зощенко, сказала она, и как человек, и как создатель смешного повествователя, олицетворявшего свою эпоху. Но творчество “подлинного” Зощенко продолжалось недолго. Что до остальных “серапионов” – посмотрите, в кого они превратились, те, что уцелели. Большинство из них стали официально признанными советскими писателями: толстый Тихонов, обвешенный орденами, Каверин, не создавший ничего существенного после первых произведений, а только солидную советскую классику, скроенную самоцензурой по надлежащему лекалу; у Слонимского и Иванова были трудности, но они стали выдавать то, что требовалось, и сделались почтенными революционными писателями – Иванов ездил за рубеж и имел комфортабельную дачу рядом с Пастернаком; Федин преуспел больше всех (и больше всех испытывал страх в некоторых отношениях) – он стал главой Союза писателей, громившего Пастернака за “Доктора Живаго”.

С какой бы стати Н. М. относиться к этому периоду иначе? В двадцатые годы Мандельштамы познали голод и бездомность. В “Воспоминаниях” она описывает это с невероятным спокойствием и силой, покоряющими читателя.

В первой книге Н. М. была еще сдержанна, писала достаточно обобщенно, так что удостоилась похвал современников. Во второй же книге она высказалась настолько прямо, что даже либералы и диссиденты, люди, страдавшие вместе с ней, были шокированы. И очень скоро литературная левизна стала чуть ли не парией в литературной Москве. Она стала предметом жесточайших споров, в чем мы убеждались всякий раз, когда пытались ее защищать – и решились мы на это только потому, что были иностранцами.

В России – выдающаяся традиция автобиографической прозы с середины прошлого века. В числе важнейших книг – “Замечательное десятилетие” Анненкова, “Былое и думы” Герцена, “Детство, отрочество, юность” Толстого, “История моего современника” Короленко, “Другие берега” Набокова (русский вариант *Speak, Memory*), “Шум времени” Мандельштама. У Надежды Мандельштам достойное место в этом ряду. “Воспоминания” были опубликованы на русском и на английском (*Hope Against Hope*) в 1970 году. “Вторая книга” вышла на русском в 1972-м и на английском (*Hope Abandoned*) в 1974-м. Эти книги показали, что она была не только “свидетельницей поэзии” (ее слова) и свидетельницей истории, но и большим прозаиком, чье место в русской литературе неоспоримо.

Но после выхода второй книги это мнение в Москве оспаривали. Те же, кто восхвалял первую книгу, после второй отказались с ней общаться. В самиздате ходили разные откры-

тые письма. На Рождество 1973 года она показала нам письмо Каверина и попросила его опубликовать в США по-английски, что мы и сделали. Оно продемонстрировало внешнему миру характер российского интеллектуального общества. Каверин – известный “либеральный” писатель. Этот литературный спор – наглядный пример разобщения в том, что западные наблюдатели именуют либеральным лагерем. Какую-то роль играют здесь и личные столкновения, но разрушительнее другие внутренние напряжения. Гневные споры разгорались не только из-за книг Н. М., но также по поводу разрядки, моральных проблем в связи с решением эмигрировать, из-за дела Якира и Красина и так далее.

На книги Н. М. не было сильной официальной реакции – ничего подобного остервенелой травле Солженицына в конце 1969 года, – никаких санкций к ней не применили, но скандал в литературных кругах Москвы и Ленинграда разгорелся нешуточный. Такого шума не было с тех пор, как Страхов, старый друг Достоевского, написал о его “пакостях” и слабостях. Чуть ли не у каждого был друг, любимец или родственник, которого она, по их мнению, оклеветала, – а вдобавок многие ее “жертвы” еще были живы и здравствовали. Хор жалоб зазвучал уже тогда, когда рукопись мемуаров пошла по рукам, и достиг предельной громкости, когда опубликовали перевод второй книги.

Все это напоминало семейную ссору. Мир русских писателей и критиков тесен и централизован, зачастую династичен и, бывает, инцестуозен. Для русских нет ничего странного в том, что три поколения Чуковских – писатели, что сестры выходят замуж за писателей, что жены переходят от одного писателя к другому (в том числе жены-писательницы), что дети одного писателя женятся на детях другого (и сами тоже критики или переводчики). Кроме того, они сосредоточены в двух столицах (и в пригородном московском Переделкине). А в Москве, например, сотни писателей живут в квартале кооперативных домов, специально для них построенных. Мы так и не смогли решить, усложнит ли это тесное соседство будущую историю русской литературы или сильно упростит, но факт этот надо иметь в виду. К тому же в Москве и Ленинграде сосредоточены практически все главные издательства, литературная периодика, институты по изучению литературы и обучению писателей и главные отделения писательского Союза.

Своим решением высказаться откровенно, честно изложить свое мнение о прошлом и его действующих лицах, сказать то, что никто не отваживался сказать о частной и публичной жизни сотен известных людей, Н. М. нажила много врагов в этих “центрах силы”. Некоторые в гневе порвали с ней отношения, другие просто отстранились, чтобы избежать ссоры, третьи поносили ее издали. Ее называли сплетницей, лгуньей, клеветницей, старой ведьмой “Все это вранье!” – с возмущением сказала мне старший литературовед Эмма Герштейн о второй книге воспоминаний и моей одобрительной рецензии на нее. “Все – вранье? – спросил я. – То есть совсем нет правды?” “Все вранье!” – повторила она еще сердитее. Поскольку Н. М. описывает Эмму Герштейн как женщину буржуазную, все путающую и трусоватую, я мог понять ожесточение последней (прорывавшееся каждые двадцать минут). Я слушал терпеливо и испытывал замешательство. В прошлый мой приезд произошел странный случай, связанный с этими двумя женщинами. Эллендея и я пришли к Н. М. и разговаривали о литературе. Н. М. знала, что у нас несколько друзей живут на Красноармейской улице и что рядом живет Эмма Герштейн. Единственно этим я могу объяснить неожиданную реплику Н. М., когда мы стояли в ее маленькой передней, уже готовясь уходить: “И все-таки Эмма сожгла стихи”. И мы ушли. Потом выяснилось, что это относилось к эпизоду из “Второй книги”, где говорится, что Эмма Герштейн в испуге сожгла листок со стихотворением. По чистому совпадению, через несколько дней общая подруга представила меня Эмме Герштейн и оставила нас вдвоем. После часа ученой беседы о Лермонтове я встал, чтобы уйти, и, когда стоял в передней, она вдруг сказала: “И я никогда не жгла ничьих стихотворений”. В моей жизни это самое близкое к тому, что можно назвать парапсихологическим явлением.

Гнев Герштейн объясним. Н. М. утверждала, что, если Герштейн напишет мемуары, они будут полны искажений. (Герштейн написала мемуары; часть была опубликована “Ардисом” в *Russian Literature Triquarterly* – специально чтобы показать: всякий желающий может опспорить Н. М., если у него достанет смелости напечататься за границей.)

Интересно, что под конец наших встреч в семидесятых Н. М. искренне интересовалась жизнью Эммы Герштейн. Безоговорочное отрицание Эммой Герштейн мемуаров Н. М. и нелогичное, но злое письмо Каверина были тогда типичной реакцией на ее книги. Куда бы мы ни пришли, нам всюду приводили примеры того, что люди считали клеветой в ее книгах – обычно на их друзей или родственников. “Х вовсе не ненормальный”, “У никогда не был стукачом”, “Z не уничтожила стихотворение Мандельштама”. Мы судить об этом не могли, но когда продолжали расспросы об упомянутых людях, все серьезные обвинения, высказанные Н. М., кто-нибудь или несколько человек подтверждали. То есть в одном доме я слышал: “У никогда не стучал – это клевета”, а в другом – “Всем известно, что У был стукач”. Самой удивительной для меня была история с уважаемым литературоведом Н. Харджиевым. Н. М. говорит, что он сумасшедший и, когда он составлял с трудом рождавшееся собрание стихотворений Мандельштама, его текстология была абсурдом – он произвольно выбрасывал и переставлял строчки и строфы. Эллендее и мне везде говорили, что называть его сумасшедшим – полная клевета, что его репутация специалиста, влюбленного в поэзию, опровергает все, что рассказала Н. М. К моему изумлению, когда мы в следующий раз приехали в Москву и мне устроили встречу с Харджиевым, те же самые люди, которые уверяли меня в его нормальности, один за другим отзывали меня в сторонку и шепотом инструктировали, как себя с ним вести. Говорили в один голос: “Знаете, он очень странный”, “Если скажете что-то не то, он закатит истерику”, и всячески предупреждали, чтобы я был крайне осторожен, если что-то пойдет не так. (Как выяснилось, предостережения были излишними, но интересно, что общее мнение о нем было именно таким, как осмелилась сказать Н. М.)

Кроме того, в следующий приезд мы познакомились с замечательными Ивичами, современниками Мандельштама, его старинными друзьями. Ивич, которому на вид было хорошо за восемьдесят, рассказывал о своем знакомстве с Гумилевым, о том, что видел Блока, – мы были очарованы и личностью его, и его познаниями. В архиве Ивича были автографы Мандельштама. Он показал мне “Балладу о луне”, которую Харджиев включил в советское издание. Но автограф Ивича совсем другой. Он объяснил, что Харджиев приходил к нему, чтобы посмотреть автограф, и сократил стихотворение, поменял в нем порядок строк, как ему нравилось, и сказал: “Так лучше”. Ивич говорит, что не мог поверить увиденному: Харджиев считался великолепным текстологом, а сейчас у него на глазах переписал стихотворение Мандельштама. Короче говоря, всякий раз, когда мы могли перепроверить слова Н. М., оказывалось, что она была права. Конечно, надо полагать, каждого может подвести память, и злость не была чужда Н. М. Но эти противоречия ставят иностранца в уязвимую позицию, особенно перед русскими друзьями, которые скажут, в конце концов, что Х впоследствии загладил свои поступки добротой, а У – несчастный человек и не надо нападать на него, пусть и справедливо.

Тут я должен заметить вот что: 1) для нерусского читателя имена конкретных личностей мало что говорят. Общая картина и моральная позиция Н. М. для нас гораздо важнее; 2) в большинстве случаев возражения против ее книги, если в них вникнуть, относятся к ее мнениям, а не к фактам. Кроме того, это возражения против отрицательных мнений, высказанных открыто и в сильных выражениях.

Русским литераторам это непривычно – в биографиях писателей они предпочитают агиографический подход. С этим сталкивается всякий, кто задумал написать биографию советского писателя и обратился к важным источникам – друзьям, коллегам, вдове. В России дневники и мемуары несравненно щепетильнее, чем на Западе; русская Анаис Нин вызвала

бы столбняк; грубость и язык Гарри Трумэна были бы неприемлемы. Пишется все в возвышенном интеллектуальном духе. Искусство трактуется с большой буквы, секс не существует. Неприятные исторические события замазываются. Хороший пример – объемистые мемуары Эренбурга: они многое открыли молодому советскому читателю и в этом плане важны, но мир, им описываемый, имеет такое же отношение к реальному миру, как Диснейленд к Нью-Йорку. Именно такого рода компромиссные мемуары были предпочтительны – или, по крайней мере, привычны – для многих либералов, критиковавших Н. М. Оптимизм, позитивизм, краснощекое здоровье посредственного соцреализма оставили свой отпечаток в подсознании. Не говоря уже о моральных вопросах, такие критики привязаны к литературным условностям, имеющим давние корни в России.

Поэтому неудивительно, что портрет Анны Ахматовой в воспоминаниях Н. М. шокировал многих поклонников замечательной поэтессы. Такие энтузиасты не могут допустить, что талантливый художник не лишен обычных человеческих качеств – раздражительности, эгоцентризма, мелочности, – не говоря уже о завуалированном намеке, что ее иногда привлекали красивые женщины. Зачем об этом распространяться, спрашивали они, забывая, что каждый мемуар о Пушкине прочесывается в поисках подробностей, за которыми стоит живой человек. Русские охотно судачат о таких вещах, но писать о них – это совсем другое дело. Описание Ахматовой у Н. М. несколько не принижает (и не имеет целью принизить) ее искусство. Но в России преобладает убеждение, что плохой человек не может написать хорошую книгу, и в результате возникает сговор: отрицать человеческие черты у любимых писателей.

Так что Надежда Мандельштам явилась, как генерал Паттон на смотр, и истрепала нервы литературному сообществу. Естественно, среди ее жертв, друзей жертв и тех, чью роль в литературе она считала нулевой, реакция была негодующая. Некоторые дали выход своей злости в письмах. И в ответ на воспоминания Н. М. были написаны по меньшей мере две книги мемуаров. Одна – либеральной писательницы Лидии Чуковской; ее возражения и многословность оправданы долгой дружбой автора с Ахматовой. О другой – Эммы Герштейн – я уже упоминал. Мы можем читать эти контрмемуары, и если авторы ловят Н. М. на фактических ошибках, за это мы должны быть благодарны; там, где их мнения о людях и взгляд на события расходятся с Н. М., мы должны обдумать их и проверить. В первой категории поправки неизбежны, учитывая, какой временной промежуток охватывают ее воспоминания; однако ясно, что большая часть возражений относится к мнениям Н. М., к ее точке зрения и интерпретации. Так обстоит дело с обвинениями Каверина, к которым мы и обратимся, поскольку они выражают взгляды большинства.

Я опубликовал перевод его письма к Н. М. от 20 марта 1973 года в *New York Review of Books*.

Вениамин Каверин (р. 1902) начинал в “Серапионовых братьях”. Для его раннего творчества типичны замысловатые фабулы, детективные и приключенческие истории; последующие рассказы и романы менее экспериментальны и укладываются в рамки социалистического реализма. В 1956 году он участвовал в создании “оттепельной” антологии “Литературная Москва”. В целом он был тем, что на Западе назвали бы либералом. Творческий путь его был долгим и невыдающимся. В первой книге воспоминаний Н. М. называет его вполне приличным человеком, но в двух местах можно воспринять упоминания о нем как не очень лестные.

Поскольку многие не прочтут книг Н. М. или не смогут проверить их пункт за пунктом, я думаю, важно рассмотреть главные обвинения Каверина. Цитируя Н. М., Каверин несколько раз слегка меняет слова (и делает пропуски) и пунктуацию и, что еще важнее, вырывает куски из контекста, добавляя свою интерпретацию. Нелепо его утверждение, будто Н. М. задалась целью показать, что, кроме Мандельштама, Ахматовой и ее самой, современ-

ной русской литературы не существовало. Так прочесть ее никому не пришло бы в голову за пределами московского и ленинградского литературных кругов. Если рассказывать о том, как обращались коллеги с Мандельштамом, с ней и с другими жертвами сталинского террора, оскорбительно для их достоинства – то да, она оскорбила и осрамила некоторых писателей. И она с полным основанием относится критически к их творчеству.

Каверин спрашивает: “Кто дал вам право судить художников, одаривших блистательными произведениями свою страну и весь мир?” Станный, но симптоматичный вопрос – спрашивать ту, чей муж был убит при участии писателей и чья жизнь, так же, как у ее ближайших друзей, превратилась в постоянный ужас. Но помимо этого – разве не у каждого человека есть право судить? Публично выражать свое мнение? Позиция, о которой я сказал выше, здесь подразумевается: если писатель “одарил весь мир блистательными произведениями”, то нельзя низводить Искусство до житейского уровня, представляя творца в дурном свете. Далее Каверин упрекает Н. М. в том, что у нее нет “литературного образования”. Такая нелепая претензия со стороны почтенного автора могла возникнуть только в обществе, где масса писателей и критиков проходят обучение в официальных литературных заведениях. (Кстати, у Н. М. была ученая степень по филологии.) Каверин приводит список “талантливых писателей и честных людей”, от Горького до Мейерхольда, и подает его так, словно талант и честь всех названных не подлежат сомнению. Я слышал, однако, что честь почти каждого из них в то или иное время вызывала вопросы (начиная с Горького, чье злобное лицемерие признается почти всеми), а по поводу их литературных заслуг мнения расходятся самым решительным образом. И вот что важно: к разным писателям, как к людям и к художникам, Н. М. относится очень по-разному, а вовсе не всегда отрицательно, как утверждает Каверин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.